

## ЗАГАДКА БОРАТЫНСКОГО

... О, тягостна для нас  
Жизнь, в сердце бьющая могучею волною  
И в грани узкие втесненная судьбою.

В мае 1826 года, в переписке с Вяземским, Пушкин, на известие о предстоящей женитьбе Боратынского, ответил словами: «Боюсь за его ум...», после чего следовала знаменитая скабрёзность о теплой шапке с ушами, в которую «голова вся уходит». Сегодня это высказывание знают и те, кто не очень внимательно прочел Пушкина. Одним оно представляется верхом остроумия и точности, безукоризненным жизненным кредо художника, верного своей музе и дорожащего свободой; другие склонны видеть тут низость, нравственное падение из числа тех, которые позже вызвали к жизни пушкинское Воспоминание со стихом: «И с отвращением читая жизнь мою...» (написанное, кстати, буквально день в день два года спустя после письма к Вяземскому). Первые уверены, что пророчество сбылось: в супружестве плодовитость Боратынского угасла, пленительная легкость ушла, ее сменила тяжеловесная, кустарная архаичность в слове, а в жизни — таинственная и безысходная трагедия. Вторые говорят, что трагичность как раз и сообщила музе Боратынского всю его силу и терпкость, да ведь и сам же Боратынский, притом еще ранний, предрекает: «страданья нужны нам», потому что — «без них нельзя понять и счастья». (Добавляют еще, что отвратительные слова Пушкина обернулись против него самого — и даже к его концу имеют отношение, ибо писатель зависит от написанных им слов.)

Из всего этого возьмем несомненное: во-первых, ранняя женитьба была важнейшим поворотом в судьбе Боратынского (и Пушкин верно почувствовал это); во-вторых, нельзя произнести имя Боратынского — и не вспомнить о его трагедии, ибо ни у одного русского поэта трагичность мироощущения не достигает такой напряженности. Между тем по видимости ничего особенно трагического в жизни поэта не было. Пресловутая солдатчина пробудила музу Боратынского и свела его с Дельвигом — счастливейшее обстоятельство всей его жизни; она поставляла превосходную пищу его ранним элегиям во французском духе, — но допустить, что она и была его трагедией, значило бы уже всерьез поставить под сомнение ум поэта и просто унижить его.

Говоря это, мы ни на минуту не упускаем из виду особенностей эпохи. В двадцать два года и Пушкин, и Боратынский сетуют в стихах, что молодость позади, и тут — не одна только элегическая поза. Взрослели в ту пору стремительно, а жили недолго. Лучшая, поистине золотая и невероятно короткая — три-четыре года — пора упоения жизнью пришлась для Боратынского на казармы, — но сами эти казармы были метафорическими. В Финляндии унтер-офицер жил на частных квартирах, ходил во фраке, приятельствовал со своим полковником и обедал у него. Литературная слава Боратынского росла. У него были восторженные почитатели в полку, его дарили вниманием женщины. По службе, с полком, он бывал в Петербурге; в длительные отпуска уезжал в Москву и в родительское имение. Правда, солдатчина затянулась сверх всякого ожидания; производство в офицеры с году на год откладывалось, — но Финляндия не была пустыней, а почта работала исправно. Сочувственное внимание общества в столицах было на стороне «изгнанника» (чего поэт не мог не ощущать ежечасно), само это изгнание питало его музу, и он прекрасно это сознавал. Какая уж тут трагедия?!

Невозможно не видеть, что подлинная трагедия начинается для Боратынского после его отставки и женитьбы (и то, и другое произошло в 1826 году). Здесь и кроется загадка Боратынского, ибо женитьба его была во всех отношениях счастливой, а последующая жизнь — благополучной, деятельной и безбедной. Перечислим то, что принято считать ударами судьбы в жизни поэта. Первое: безвременная смерть Дельвига. Живой контакт с пушкинским кругом нарушается, Боратынский оказывается в некоторой изоляции, впрочем, частично добровольной. Второе: охлаждение общества к стихам Боратынского. Критика, главным образом в лице Белинского, удивляется тому, до какой степени еще вчера Боратынского незаслуженно превозносили. Третье: разрыв с Иваном Киреевским и его кругом (что именно послужило поводом к этому разрыву, до сих пор не выяснено). Вот и всё. Смерть в младенчестве трех дочерей Боратынского — Екатерины, Марии и Софьи — не в счет: горького плача по ним не находим ни в стихах, ни в письмах. Детская смертность вообще была в ту пору устрашающей, смерть малолетних детей — делом совершенно обыкновенным. Другие шестеро детей Боратынских выжили, дав семье обычный процент выживаемости.

Быть может, поэт разочаровался в своем выборе, разлюбил свою жену Настасью Львовну, урожденную Энгельгардт? Ни малейшего указания на это нет. Как раз наоборот: их близость идет дальше обычной для той эпохи и растет год от году. Для Пушкина его женитьба стояла в одном ряду с другими душевными движениями, знаменовавшими возвращение к отеческим устоям. Для Боратынского женитьба связана с поисками смысла жизни, с жаждой совершенства, иначе говоря — с богоискательством. Не в силу старинной церковной формулы, а на самом деле, она для него — таинство перед Богом. В этом Боратынский опережает свое время, берет на свои плечи всю тяжесть первооткрывателя. Восемнадцатый век знал душевную близость мужчины и женщины, но, верный своему игровому духу, о полном духовном слиянии, о растворении друг в друге не помышлял. Боратынский замахивается именно на это — и терпит неудачу.

В этой неудаче нет ни малейшей вины Настасьи Львовны. Вглядываясь в ее ускользающий облик, видим, что она во всё достойна своего избранника: была ему верным другом, понимала душевный строй мужа и любила его стихи, — случай вообще несчастный. Можем ли мы то же самое сказать о Наталье Николаевне Гончаровой? Искал ли Пушкин в ней ценителя своей музыки? Нет, брак Пушкина — более внешний, более светский. Пушкин женится на красавице, а Настасью Львовну Энгельгардт Вяземский называет девушкой «любезной, умной и доброй, но не элегической по наружности». В других высказываниях она предстает и вовсе дурнушкой. Для Боратынского, однако, важно другое: «Есть что-то в ней, что красоты прекрасней...», или:

Не первой встречной сердце вверх  
И, суетный в любви,  
Не лучезарнейшую всех  
Своею назови.

Никто, кроме Боратынского, в ту пору так вопрос не ставит. Постоянная мысль о бренности всего земного приучила поэта смотреть на людей взором духовным. Этим духовным взором он увидел, что Настасья Львовна — прекрасна. Таковой она и осталась для него с первого до последнего дня. Он и умирает от сердечного приступа, вызванного страхом за ее здоровье.

В чем же, однако, трагедия? — В особой чувствительности Боратынского, говорят нам, и в качестве примера приводят знаменитый отрывок из письма Пушкина к Плетневу в связи со смертью Дельвига. Пушкин пишет: «Баратынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить...» Верно: чувствительность и ранимость были у Боратынского особенные, но его душевного строя такой ответ не воссоздаёт и поставленного вопроса не снимает. Не помогает нам и сам поэт. Оставим без обсуждения жалобу на старость в преддверии сорока лет. Главная его жалоба — на отсутствие отзыва, на нехватку внимания и понимания.

Я век извел, стучась к людским сердцам,  
Всех чувств благих я подавал им голос, —  
Ответа нет!

Какого же внимания не хватало поэту, искренне сказавшему о себе: «Мой дар убог и голос мой негромок...» и «Не ослеплен я Музою моею»? Неужто внимания толпы? Его стихами восхищался сам Пушкин, не говоря уже о Дельвиге, Плетневе и Вяземском. Может, внимания друзей и женщин? Но рядом — лучший друг и возлюбленная, Настасья Львовна...

Наш ответ состоит в том, что Боратынский пытался превзойти человеческую природу (и природу вообще), выйти за пределы, положенные биологией, преодолеть — или, говоря его словами, перейти — «страстное земное». Разумеется, такого рода попытки в течение столетий предпринимались монахами, но монашество — экзальтированный порыв к сверхчеловеческому, искусственная крайность, отклонение от нормы, пусть и возвышенное. Монаху не приходится решать ключевого вопроса каждой человеческой жизни: как гармонически увязать в себе начало духовное и физиологическое, как снять видимое противоречие между ними. Монашество есть уход от этого вопроса, неспособность справиться с ним (в самых редких случаях — полное отсутствие этого вопроса). Другой пример неспособности, другая (низменная) крайность, в которую скатывается едва ли не большинство, — половая беспорядочность, вседозволенность, снимающая таинство и опошляющая брак. Золотая середина — полное и безупречное единобрачие — остается недостижимым идеалом. В отличие от крайних, это срединное положение неустойчиво, и неустойчивость многократно возрастает для человека творческого. Влюбленность, романтические ухаживания — самый простой, самый верный способ вызвать благосклонность музы. Специфический душевный подъем обостряет все чувства, мобилирует все дарования, недаром у Блока «Только влюбленный достоин имени человека». Половое чувство в природе отделяет живое от неживого. Происхождение этого чувства — вполне дочеловеческое, но в человеке направлено к сверхчеловеческому, — оттого и питает творчество. Кто из поэтов и когда сознательно ставил ему преграду? Кто не позволял новой любви потеснить старую? До Боратынского подобных опытов, — по крайней мере, в русской творческой среде, — не видно. Боратынский приблизился к идеалу настолько, насколько это мыслимо для человека страстного и творческого, но мирского, — а страдал оттого, что полного совершенства не достиг, остался всего лишь человеком.

Попробуем представить себе строй мыслей Боратынского накануне женитьбы. Он, разумеется, знал, как и все вокруг это знали, что супружеская жизнь не живет поэтического воображения, — и так же точно знал, что он — поэт по преимуществу, что в поэзии — вся его жизнь. Страстной, пылкой, всё заслоняющей влюбленности в Настасью Львовну, долгих ухаживаний за нею — документы до нас не донесли. Боратынский, конечно, был влюблен, но он влюблялся и прежде. Получается, что, решив жениться сравнительно рано, когда дело его жизни еще было далеко от завершения, он либо сознательно приносит поэзию в жертву, либо — и в этом состоит наша догадка — втайне надеется превзойти человеческую природу, остаться поэтом там, где другие не смогли, дать неслыханный дотоле пример торжества духа над плотью. Этот беспримерный порыв к сверхчеловечеству состоял не в отвержении слишком человеческого, а принятии его на себя во всей полноте — и в пресуществлении духовным подвигом. Боратынский словно бы говорит нам: «В поэзии — вся моя жизнь, всё моё наслаждение, но нельзя жить ради наслаждений, и живу я не для того, чтобы писать. У жизни есть предназначение более высокое...»

Заточение, изгнание, бедность, непризнание и лишения — всем этим испытаниям поэты подвергались на протяжении веков и преспокойно выдерживали их. Ни одно из этих испытаний не идет в сравнение с испытанием полным счастьем, ибо не отнимает у поэта будущего, не лишает авантюрного начала, не посягает на инстинкт охотника. Зов предков, биологическое

задание, состоящее в том, чтобы пристроить свое наследственное вещество наилучшим и наиширочайшим образом, через это утвердившись в потомстве; зов, преломляемый и претворяемый в творческий инстинкт, — этот неистребимый зов Боратынский хочет в себе подавить. Он бросает вызов природе или, если угодно, Творцу. Адюльтер, светские ухаживания, а с ними — и свою молодость, поэт отвергает как пошлость. В главном, в поэзии, он торжествует: его стихи приобретают небывалый по глубине и насыщенности тон. Но цель его была не в этом, и трагедии он не домогался. Цель его состояла в чистоте, полноте и целостности, в идеале прекрасных соразмерностей, воплощенном не только в поэзии. И этой цели он не достигает. Трагическую сущность бытия лучше всего заслоняет от нас суетное: слава, успех (для мужчины прежде всего — успех у женщин). Усилим разума и воли отвергнув суетное и пошное, Боратынский на чувственном уровне остается всего лишь человеком. Добровольным затворничеством он тяготится; последней и безупречной целостности не достигает, — и это свое несовершенство переживает как величайшую трагедию.